

Посвящается П.

Я не верю в Бога, но мне Его не хватает. Так я говорю, когда мне задают этот вопрос. Я спросил своего брата, преподававшего философию в Оксфорде, Женеве и Сорбонне, что он думает насчет подобного заявления, не раскрывая, что оно принадлежит мне. Тот ответил одним словом: «Жеманство».

Начать надо с бабушки по маме, Нелл Луизы Сколток, урожденной Машен. Она была учительницей в Шропшире, пока не вышла за моего дедушку, Берта Сколтока. Не Бертрама, не Альберта, просто Берта: так его крестили, так звали, так кремировали. Он был директором школы, особо расположенным ко всему механическому: владелец мотоцикла с коляской, затем «ланчестера», позже, уже на пенсии, водитель довольно помпезного спортивного родстера «триумф» со скамьей на троих спереди и двумя сиденьями сзади, когда верх опускался. Ко времени нашего знакомства бабушка с дедушкой переехали на юг страны, чтобы жить

рядом со своим единственным ребенком. Бабушка записалась в Женский институт¹; солила и закручивала консервы, ощипывала и жарила куриц и гусей, которых разводил дедушка. Она была миниатюрной, с виду мягкой и податливой, с распухшими к старости суставами; ей было не снять обручальное кольцо без мыла. Ее гардероб изобиловал домашними кардиганами, дедушка предпочитал более мужественную жгутовую вязку. Они регулярно ходили на педикюр и принадлежали к поколению, в котором по совету стоматологов вырывали все зубы сразу. Тогда придерживались такого ритуала: от зубовных скрежетов и шатаний к полной фарфоризации в один присест, с последующими оползнями и клацаньем во рту, публичными конфузами и пенистым стаканом на тумбочке.

Переход от зубов к вставным челюстям поразил меня с братом и своей серьезностью, и своей непристойностью. Но в жизни моей бабушки случилась и другая огромная перемена, которую при ней никогда не упоминали. Нелл Луиза Машен, дочь рабочего с химзавода, воспитывалась методисткой, в то время как Сколтоки были англиканцами. В какой-то момент в молодости бабушка неожиданно утратила веру и, как лакируют действительность семейные

¹ Общенациональный женский клуб по интересам: домоводство, драмкружки, спорт, социальные программы. (Здесь и далее примеч. перев.)

Нечего бояться

предания, обрела замену: социализм. Я понятия не имею, насколько силен был когда-то ее религиозный пыл и каковы были политические пристрастия ее родителей; все, что я знаю, это что однажды она выставляла свою кандидатуру на местных выборах как социалист и потерпела поражение. Ко времени нашего знакомства в 1950-е она выросла в коммунистку. Она, должно быть, одной из немногих пенсионеров в пригородном Букингемшире покупала «Дейли уоркер» и — как мы с братом доказывали друг другу — ловчила с семейным бюджетом, чтобы слать пожертвования в газетный «фонд борьбы».

В конце 1950-х случился Советско-Китайский Раскол и коммунисты по всему свету обязаны были выбирать между Москвой и Пекином. Для большинства преданных европейцев выбор был нетруден, как и для газеты «Дейли уоркер», получавшей финансирование вместе с директивами из Москвы. Бабушка, которая никогда не бывала за границей и жила себе в мещанской одноэтажной Англии, по неизвестным причинам решила связать свою судьбу с китайцами. Я приветствовал ее таинственное решение из явной личной выгоды, поскольку вместо «Уоркера» она теперь выписывала «Китай строится» — еретический журнал, приходивший прямиком с далекого континента. Бабушка откладывала для меня марки с коричневатых

конвертов. На них обычно воспевались промышленные достижения: мосты, гидроэлектростанции, грузовики, сходящие с конвейеров, — или же разнообразные голуби, летящие символизировать мир.

Мой брат не претендовал на такие подношения, поскольку за несколько лет до этого в нашем доме произошел Филателистский Раскол. Джонатан решил специализироваться на Британской Империи. Я же, дабы подчеркнуть свое отличие, объявил, что буду коллекционировать категорию, которую я назвал, как мне тогда казалось, логично, Весь Остальной Мир. Определялась эта категория только тем, что *не* собирал мой брат. Я не помню, было это решение наступательным, оборонительным или просто прагматичным. Знаю только, что оно иногда приводило к поразительным репликам в школьном филателистском клубе среди коллекционеров, еще недавно ходивших под стол пешком: «Барнси, так а что ты собираешь?» — «Весь Остальной Мир».

Мой дедушка был любителем геля для волос, и салфетка на его паркер-нолловском кресле — с высокой спинкой и боковинами, чтобы прикорнуть, — лежала там не только для красоты. Он поседел раньше бабушки; у него были по-военному подстриженные усы, курительная трубка с металлическим черенком и кисет, который оттягивал ему карман кардигана. Также

Нечего бояться

он носил неуклюжий слуховой аппарат, еще один атрибут мира взрослых — или, скорее, мира на дальнем краю взрослости, — над которым любили издеваться мы с братом. «Прошу прощения?» — орали мы друг другу, прикладывая руку к уху и надрываясь со смеху. Мы оба с нетерпением ждали бесценных моментов, когда бабушкин живот урчал настолько громко, что пробуждал дедушку из глухоты с вопросом: «Телефон, да?» После короткого сконфуженного мычания они возвращались к своим газетам. Дедушка в мужском кресле, посвистывая слуховым аппаратом и посасывая пыхтящую трубку, качал головой над «Дейли экспресс», которая описывала ему мир, где истина и справедливость постоянно подвергались Коммунистической Угрозе. А бабушка, в красном углу, в женском кресле цокала языком над «Дейли уоркер», которая описывала ей мир, где истина и справедливость в их усовершенствованных версиях постоянно подвергались угрозе со стороны Капитализма и Империализма.

Дедушка к тому времени уже сократил свою религиозную обрядовость до просмотра «Псалмов» по телевизору. Он столярничал и работал в саду, он сам выращивал табак и высушивал его в своем гараже, где также хранил клубни георгинов и подшивки «Дейли экспресс», стянутые ворсистыми бечевками. Он держал в любимчиках моего брата, учил его точить стамеску

и оставил в наследство плотницкий набор. Я не помню, чтоб он чему-нибудь меня учил (или что-то мне завещал), хотя однажды мне позволили наблюдать за тем, как он в сарае убивает курицу. Дед взял птицу под мышку, успокоил поглаживаниями, затем положил ее шею на зеленый металлический аппарат, привинченный к дверному косяку. Опуская рукоять, он стиснул куриное тельце еще крепче, чтобы погасить финальные конвульсии.

Моему брату разрешалось не только смотреть, но и участвовать. Несколько раз ему довелось тянуть рычаг, в то время как дедушка держал курицу. Однако наши воспоминания о бойне в сарае расходятся до несовместимости. По мне, этот аппарат всего лишь крутил птице шею, для него это была маленькая гильотина. «Я четко вижу корзинку под лезвием. Я (менее четко) вижу, как туда падает голова, капает (немного) крови, дедушка ставит безголовую курицу на землю, она еще бежит несколько секунд...» Это моя память подверглась очистке или его заражена фильмами про Французскую революцию? В любом случае дедушка познакомил моего брата со смертью и ее неприглядностью лучше, чем меня. «Ты помнишь, как дедушка забивал гусей перед Рождеством?» (Не помню.) «Он преследовал выбранного им гуся по загону, размахивая ломом. А когда достигал ловким ударом, то, чтоб уже наверняка, он клал птицу на зем-

Нечего бояться

лю, придавливал гусиную шею ломом и дергал голову».

Мой брат помнит ритуал — я не видел такого ни разу, — который он называл Чтением Дневников. Бабушка и дедушка вели дневники по отдельности и вечерами порой развлекались, зачитывая друг другу то, что внесли туда на той же неделе несколько лет назад. Записи, несомненно, отличались известной банальностью, но часто приводили к разногласиям. Дедушка: «Пятница. Работал в саду. Сажал картошку». Бабушка: «Чушь. Весь день шел дождь. В саду мокро — работать невозможно».

Мой брат также помнит, как однажды, когда был совсем маленький, повыдергивал весь лук в дедушкином саду. Дедушка отлупил его до истошного рева, затем непривычно побелел, признался во всем нашей маме и поклялся никогда больше не поднимать руку на ребенка. Вообще-то, мой брат ничего из этого не помнит — ни лука, ни головомойки. Ему эту историю постоянно рассказывала мама. Более того, если бы он ее помнил, ему бы стоило быть осмотрительней. Как философ он считает, что воспоминания лживы «настолько, что по картезианскому принципу гнилого яблока ничему нельзя верить без подтверждения со стороны». Я более доверчив или склонен к самообману, так что продолжу, как будто мои воспоминания верны.

Нашу маму при крещении назвали Кэтлин Мейбл. Она ненавидела Мейбл и жаловалась дедушке, который объяснял, что «когда-то знал одну очень милую девушку по имени Мейбл». Я не имею малейшего представления о росте или упадке ее религиозных верований, хотя мне перешел ее молитвенник, переплетенный вместе с «Гимнами древними и современными» в мягкой коричневой замше, каждый том подписан на удивление зелеными чернилами и с датой «Dec: 25th 1932.»¹. Я восхищаюсь ее пунктуацией: две точки и двоеточие, а точка под «th» расположена ровно посередине между буквами. Теперь такой пунктуации уже не встретишь.

В моем детстве под запретом были три традиционные темы: религия, политика и секс. Когда мы с мамой начали их обсуждать — то есть первые две, третья перманентно отсутствовала в нашей повестке, — политически она оказалась закоренелым консерватором, каким, полагаю, всегда и была. Что касается религии, она мне твердо заявила, что не хочет на своих похоронах «никакой тарабарщины». Когда сотрудник похоронного бюро спросил, не хочу ли я убрать «религиозные символы» со стены крематория, я ответил ему, что она бы этого хотела.

Такое условное наклонение, между прочим, вызывает серьезные подозрения моего брата. В ожидании начала похорон мы не то что за-

¹ 25 декабря 1932 г.

спорили — это бы нарушило семейную традицию, — но обменялись репликами, из которых было видно, что если по своим стандартам я и рационалист, то по его — довольно хилый. Когда мама сначала обездвигела от удара, она с радостью согласилась передать в пользование внучке К. свой автомобиль, последний из длинной череды «рено» — марки, которой она была франкофильски верна на протяжении почти полувека. Стоя с братом на парковке крематория, я искал глазами знакомый французский силуэт, как вдруг увидел, что моя племянница въезжает за рулем машины своего бойфренда Р. Я заметил — уверен, что мягко: «Думаю, мама бы захотела, чтобы К. приехала на ее машине». Мой брат так же мягко и логично опроверг меня. Он подчеркнул, что есть желания покойных, то есть какие-то вещи, которые некогда хотели теперь уже мертвые, и есть гипотетические желания, то есть вещи, которые они захотели бы или могли бы хотеть. «Что захотела бы мама» — комбинация последних двух: гипотетическое желание покойной, то есть вдвойне сомнительное. «Мы можем делать только то, чего хотим *сами*», — объяснил он; потрафлять маминим гипотетическим желаниям так же иррационально, как если бы он обращал внимание на собственные прошлые желания. Я предложил в ответ, что мы должны пытаться делать то, что она бы хотела: а) поскольку должны же

мы делать *что-то*, и это что-то (если мы не оставили ее тело просто гнить в глубине сада) подразумевает выбор, и б) поскольку мы надеемся, что, когда мы умрем, другие сделают то, чего в свою очередь хотели бы мы.

Я редко вижу с братом и потому часто поражаюсь тому, как устроен его мозг, но он говорит совершенно искренне. Пока я вез его в Лондон с похорон, у нас случился еще более странный — для меня — разговор про мою племянницу и ее бойфренда. Они довольно долго встречались, потом временно разошлись, и К. закрутила с другим. Брату и его жене этот новенький сразу же не понравился, и моя невестка, как следует, целых десять минут ему «выговаривала». Как она ему выговаривала, я не стал спрашивать. Вместо этого я спросил: «Но ты же одобряешь Р.?»

«Одобряю я Р. или нет — абсолютно не важно», — ответил брат.

«Конечно же важно. К., возможно, хотела бы, чтобы ты его одобрял».

«Напротив, возможно, она хотела бы, чтобы я его *не* одобрял».

«Но в любом случае нельзя сказать, что для *нее* не важно, одобряешь ты его или нет».

Он задумался на секунду. «Ты прав».

Из этого разговора, пожалуй, видно, что он старший брат.

Нечего бояться

Моя мама не высказывалась относительно музыки, которую она хочет на свои похороны. Я выбрал первую часть фортепианной сонаты Моцарта ми-бемоль мажор, KV 282 — одной из тех пьес, что долго и величаво сворачиваются и разворачиваются, оставаясь торжественными даже в оживленных фрагментах. Казалось, она длится минут пятнадцать вместо заявленных на обложке семи, и я даже начал подозревать, что заиграла еще одна моцартовская вещь или крематорский CD-проигрыватель перескочил на начало. За год до этого я выступал в передаче «Диски необитаемого острова», где из Моцарта выбрал «Реквием». После передачи мама позвонила и поставила мне на вид, что я назвал себя агностиком. Она сказала, что так же называл себя папа — в то время как она была атеисткой. Звучало это так, будто агностицизм был размытой либеральной позицией, в отличие от истинной, как невидимая рука рынка, реальности атеизма. «И что это за разговоры о смерти, кстати?» — продолжила она. Я объяснил, что мне не нравится сама идея. «Ты прямо как твой отец, — ответила она. — Может, дело в возрасте. Доживешь до моих лет, так волноваться уже не будешь. Лучшее в жизни я уже повидала. И вспомни Средние века — тогда продолжительность жизни была действительно низкой. А теперь мы живем семьдесят, восемьдесят, девяносто лет... Люди верят в религию

только из-за страха смерти». Это было типичное для моей мамы заявление: четкое, пристрастное, явно нетерпимое к возражениям. Ее семейное главенство и уверенность в вопросах мироздания удобно все проясняли, когда я был ребенком, ограничивали в юности и нестерпимо утомляли в моей взрослой жизни.

После ее кремации я забрал диск Моцарта у «органиста», который, я вдруг подумал, теперь получает полное жалованье за то, что ставит запись с компакт-диска. С отцом прощались за пять лет до этого в другом крематории, где настоящий органист честно отработывал свой гонорар Бахом. Отец бы «этого хотел»? Думаю, он был бы не против; он был мягким человеком либеральных взглядов, не слишком интересовавшимся музыкой. В этом вопросе, как и в большинстве случаев, он — не без многочисленных тихо-ироничных ремарок — положился на мнение своей жены. Его гардероб, дом, в котором они жили, их машина — все решения были ее. В пору непримиримой юности я осуждал его как слабака. Позже я считал его конформистом. Еще позже — человеком автономным в своих взглядах, но не желающим разводить споры.

Первый раз, когда я попал в церковь со своей семьей — на свадьбу родственника, — я был поражен, когда папа рухнул на колени перед скамьей, закрыв ладонью глаза и лоб. *Это-то*